

---

PHILO-SOPHIA

**ЛЕВ ШЕСТОВ**

**АФИНЫ  
И  
ИЕРУСАЛИМ**



**РИПОЛ  
КЛАССИК**

УДК 122/129

ББК 86.2

Ш54

**Шестов, Лев**

Ш54 Афины и Иерусалим / Л. Шестов. – М. : РИПОЛ классик.  
– 414 с. – (PHILO-SOPHIA).

ISBN 978-5-519-64616-1

Вниманию читателя предлагается одна из ключевых работ Льва Шестова — едва ли не самого оригинального и парадоксального мыслителя Серебряного века. Книга посвящена теме, занимавшей умы многих мыслителей, от Толстого до Ницше, от Лютера до Достоевского, и с новой силой заявившей о себе на заре великих потрясений XX века, теме противоборства библейского и эллинского начал европейской мысли, откровения и умозрения, веры и разума. Издание сопровождается вступительной статьей философа и историка философии А. В. Ахутина.

УДК 122/129

ББК 86.2

ISBN 978-5-519-64616-1

© Ахутин А. В., вступительная  
статья, 2017

© Издание, оформление.

ООО Группа Компаний

«РИПОЛ классик», 2017

А. В. Ахутин

## ОДИНОКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ

Среди замечательных имен нашего Серебряного века — философов, писателей, поэтов, с которыми привычно связывают русское культурное возрождение этой короткой эпохи, — мы встречаем имя Льва Шестова. Широко известным оно стало после того, как С. П. Дягилев опубликовал в редактируемом им журнале «Мир искусства» книгу Шестова «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)». К этому времени Шестову удалось издать за свой счет две книги, но только теперь, когда его сочинение появилось в самом блестящем по тем временам литературно-художественном журнале, — появилось сразу же после публикации в том же журнале нашумевшей книги Д. С. Мережковского «Толстой и Достоевский», — он входит в круг деятелей русского религиозно-философского возрождения XX века. «Шестов очень талантливый писатель, — писал Н. Бердяев в 1905 г. в рецензии на „Достоевский и Ницше“ и „Апофеоз беспочвенности“, — очень оригинальный, и мы, непристроившиеся, вечно ищущие, полные тревоги, понимающие, что такое трагедия, должны посчитаться с его вопросами, которые так остро поднял этот искренний и своеобразный человек. Шестова я считаю крупной величиной в нашей литературе, очень значительным симптомом двойственности современной культуры». Оригинальный, далекий от академических канонов склад ума, поглощенность последними вопросами бытия роднят Шестова с Д. Мережковским, Н. Бердяевым, С. Булгаковым, В. Розановым, В. Ивановым, А. Ремизовым и другими сотрудниками

«Мира искусства», «Нового пути», «Вопросов жизни», «Русской мысли», участниками петербургских Религиозно-философских собраний, ивановских «сред», «воскресений» В. Розанова.

По своему характеру сообщество это сильно отличается от аналогичных кружков, групп, союзов XIX века. При общей страсти к постижению мировой культуры, преимущественно в ее эзотерических истоках, при общем религиозном умонастроении, при общей даже философии символизма связывает их скорее полемическая энергия, чем идейная близость. Сообщество объединяло людей до крайности своенравных, с утонченной личностной психологией и художественно развитым вкусом. Но даже в этом собрании исключений Лев Шестов стоит особняком. Молчаливый, всегда самососредоточенный, не ввязывающийся в споры, предпочитающий не утверждать свое, а иронически снижать пафос оппонента, он, тем не менее, неколебим в парадоксальном адогматизме. Вглядываясь в этот пышный мир, мы не найдем Шестову места ни среди мистиков, ни среди символистов, ни среди его ближайших друзей — религиозных философов. Он сознает эту «неуместность» и даже отстаивает ее. Едва заявив о себе первыми публикациями, благожелательно принятый и признанный «своим», он двумя саркастическими выступлениями резко отделяет собственную позицию от направления Мережковского, а затем также от философской позиции Н. А. Бердяева.

Отмежевание от основных течений именно религиозно-философской мысли столь явно, что возникает сомнение, допустимо ли вообще связывать творчество Шестова с этим движением. Определенно можно утверждать, что оно не только не входит в традицию русской мысли, связанную с именем Владимира Соловьева, но и сознательно противостоит ей. Во всяком случае, Шестов озабочился с предельной ясностью выразить свое критическое отношение к религиозной философии соловьевского толка в специальном курсе лекций, прочитанных им на Русском отделении Парижского университета в 1926 г. и положенных затем в основу специальной работы.

Стало быть, Шестов разделял с религиозными философами и писателями только общие «предчувствия и предвестия», общую захваченность последними вопросами, по философской же сути и смыслу их пути расходились. Его парадоксальные речи вроде бы вообще не встраиваются в русскую философскую традицию и кажутся голосом одиночки, не созвучным никакому хору — ни славянофилов, ни западников, ни церковноверующих, ни метафизиков, ни гносеологов. Владимир Соловьев, познакомившись с рукописью книги Шестова «Добро в учении Толстого и Ницше», почувствовал беспокойную странность выразившегося в ней умонастроения и просил отсоветовать автору опубликовать это сочинение. Обвинение в нигилизме было наготове и не раз высказывалось, казалось бы, близкими по духу людьми, например, С. Л. Франком в рецензии на статью Шестова о Чехове «Творчество из ничего».

С другой стороны, шестовскую борьбу с догматизмом религиозных доктрин, спекулятивной метафизики, этического идеализма вполне могли бы одобрить критически мыслящие реалисты, — но критицизм их никогда не простирался так далеко, чтобы поставить под вопрос науку и сам разум. Они, несомненно, увидели бы в сочинениях Шестова лишь декадентскую нервозность, апологию иррационализма и слепой фидеизм.

Так правомерно ли вообще искать в русской культуре истоки этой причудливой, столь критической и столь сосредоточенной в себе мысли? Почему она уместна среди памятников отечественной мысли?

Шестов однажды со всей определенностью ответил на подобные вопросы. Заметив, что русская философия и славянофильского, и западнического направления выросла на почве философии немецкой, Шестов говорит: «А меж тем русская философская мысль, такая глубокая и своеобразная, получила свое выражение именно в художественной литературе. Никто в России так свободно и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой (пока его не требовал к священной жертве Аполлон, Толстой „мыслил“ так же, как Соловьев) и даже Чехов...» Здесь —

в великой русской литературе XIX века — и следует искать исток философского постижения Шестова. Едва ли не первый уяснил он особую философскую значимость художественного опыта литературы, и в первую очередь русской литературы XIX века. Сосредоточенное внимание к человеку, устранимому объективным ходом истории, — человеку частному, странному, забываемому, «маленькому», «лишнему», — как бы его там ни называли; открытие глубинной значимости ситуаций, которые много позже европейские экзистенциалисты — во многом опираясь на русскую литературу — назовут пограничными; художественное постижение экзистенциально-личностного характера нравственного решения, превышающего всякую нормативную этику; открытие трагического характера исторического бытия. Все это сокровища, найденные Шестовым в русской литературе, и прежде всего у Достоевского и Толстого. Не думаю, что мы слишком ошибемся, если увидим во всем творчестве Л. Шестова попытку пересмотреть классическую западноевропейскую философию в свете тех откровений, которыми поразила его — как много позже и саму западную мысль — русская литература. И тут, правда, простого противопоставления не получается: столь же мощный импульс Шестов получил от Ницше. Более того, есть все основания утверждать, что философски продуктивным оказалось именно напряженное духовное «поле», образованное тремя силовыми полюсами — Ницше, Толстым и Достоевским, героями первых двух собственно шестовских книг. Обращенные лицом и словом друг к другу, эти мыслители-художники утрачивали все вторичное, идеологическое, не идущее к делу и полагали начало новой философии — философии трагедии, философии каторги, философии XX века...

Так что же такое сочинения Л. Шестова? К какому жанру можно было бы отнести эти свободные размышления? Вопросы, которые всю жизнь мучили Шестова и которыми он по сей день мучит нас, слышаны им у Шекспира, Достоевского, Толстого, — у писателей и поэтов. Но у него нет и речи об эстетике или поэтике «художественных произведений». Эти вопросы звучат для него

прямо из глубин бытия (*de profundis*), как если бы мир и вправду был миром трагедии или романов Достоевского, как если бы в том же мире звучали голоса Кьеркегора, Ницше, Паскаля, Лютера, ап. Павла и самого Писания. Как если бы Литература была продолжением Писания. Радикальный вопрос, вопрос о «корнях всего» (*ριζώματα πάντων*) задается и решается, по Шестову, не в богословии, не в метафизике и не в науке, сколь бы «строгой» она ни была, а на пепелище Иова или «за коньячком» у Карамазовых. Сюда — в каморку «подпольного» человека, в русский трактир, в келью отчаявшегося монаха, на суд Иова — вызываются духи великих богословов и метафизиков, здесь привлекаются к ответу Аристотель, Фома Аквинский, Спиноза, Кант, Гегель, Гуссерль...

Положение Шестова — «беспочвенного», странного, непонимаемого мыслителя, шагнувшего на свой собственный страх и риск в неведомый мир, которому он оставался верен до конца, исключительно. Всю жизнь он занимался философией, все глубже погружаясь в труды ее великих творцов, но справедливо был назван антифилософом, поскольку занимался этим только для того, чтобы развенчать разум и обратить человека к вере. Всю жизнь он утверждал, что открыть реальность можно только верой и никогда не принадлежал ни к одной конфессии. Жизнь Шестова — еврея в России, русского эмигранта за границей, уединенного мыслителя в эпоху всеобщего безумия, вынужденного обеспечивать себя и множество близких собственным литературным трудом, — была сравнительно благополучна, но одним из немногих на заре века он постиг всю незащищенность и необеспеченность человеческого существования, всю иллюзорность естественных, социальных или божественных законов. Постиг он и то, что Бог откликается только на зов «из глубины». Задолго до того, как вступил в силу настоящий XX век, Шестов услышал его весть.

Лев Исаакович Шестов (Иегуда Лейб Шварцман) родился 31 января (13 февраля) 1866 г. в Киеве в семье крупного коммерсанта. Купец первой гильдии Исаак Моисеевич Шварцман помимо

деловых качеств отличался также незаурядным знанием древнееврейской письменности и, несмотря на известное вольнодумство, пользовался авторитетом в еврейской общине. Он проявлял живую заинтересованность в зарождавшемся сионистском движении, общался с учредителями его и помогал им. Шестов, однако, остался внутренне чужд и миру коммерции, и миру иудейских древностей, и специфическим проблемам еврейской диаспоры.

Поступив в Московский университет сначала на математический факультет, он перевелся затем на юридический факультет, который закончил уже в Киеве в 1889 г. В университете Шестов занимался под руководством видных экономистов и общественных деятелей И. И. Янжула и А. И. Чупрова. Предмет его студии — рабочий вопрос. Как видим, путь Шестова напоминает путь его будущих друзей. Он ведет от социально-экономических проблем к проблемам религиозно-философским. Характерно, однако, что и на этом этапе реальное положение рабочих занимало его больше, чем всеобъясняющие теории.

По окончании университета Шестов занимается адвокатурой, проходит военную подготовку в качестве вольноопределяющегося, служит помощником присяжного поверенного, помогает отцу. К этому времени относятся его первые опыты в литературе. Рассказы и стихи были, впрочем, быстро заброшены. Наконец, перевалив за тридцать, он открыл в мире литературы философию и обрел себя.

В последней по времени статье, посвященной памяти Эд. Гуссерля, Шестов вспоминает: «... моим первым учителем философии был Шекспир. От него я услышал столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем столь грозное и тревожное: время вышло из своей колеи. От Шекспира я бросился к Канту. Но Кант не мог дать ответы на мои вопросы. Мои взоры обратились тогда в иную сторону — к Писанию». Трудно найти слова, точнее определяющие одну из основных тем шестовского философствования — и, без сомнения, одну из основных тем XX века, — чем эта брошенная вскользь фраза Гамлета: «Распалась связь времен!» Ранее кого бы то ни было Шестов понял, что связь эта не отыскивается в не-

ких всемирно-исторических законах, как бы их ни называли — Провидением, Прогрессом, Логикой истории или Научным предвидением. Каждый на свою ответственность, чаще всего собственной кровью склеивает «двух столетий позвонки». Отсюда, из этого шекспировского урока вырастает у Шестова своеобразная философия истории. Обычаи, традиции, преемственности — все, чем человек пытается связать течение событий, условно, временно. Нет основания считать, что схемы, которые норовит внести в историю человеческий разум, принадлежат ей. Библия понимает дело точнее, когда описывает непредсказуемую историю взаимоотношений отдельного народа и Бога. И каждый раз все снова и снова человек стоит в истории у ее конца и накануне начала, которое он должен положить на собственный страх и риск, внемля слову или молчанию Бога. В истории же европейской философии Шестов видит навязчиво воспроизводящееся стремление метаисторического разума «снять» непредсказуемую реальность исторического в единой, легко обозримой истине, подчинить все порядку безличной необходимости и отгородиться системой этических законов от живого Бога.

Таково, по Шестову, доминирующее в истории европейской мысли эллинское начало. Этому стремлению противостоят редкие дерзновенные прорывы к реальности, выглядящей абсурдом на фоне эллинской разумности, апеллирующей к вере, непосредственному живому опыту человека, его чутью, вкусу, даже здравому смыслу. Так сказывается действие библейского начала.

Если Шекспир пробудил первый вздох и первый крик Шестова-философа, то Ницше стал для него первым учителем не столько «идей», «теорий», «доктрин», сколько самого искусства философски видеть, слышать, мыслить и говорить, первым учителем той «высшей музыки», которую Шестов вслед за Платоном и Ницше стал отныне считать истинной философией.

Вторую книгу — «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. (Философия и проповедь)», которую при содействии В. Соловьева удалось напечатать в кредит в типографии М. Стасюлевича

(1900), — встретили более благоприятно. Она удостоилась рецензий Н. К. Михайловского и П. П. Перцова, вызвала интерес в Москве, Петербурге и Киеве.

Книга «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)» через год после публикации в «Мире искусства» выходит отдельным изданием у Стасюлевича и имеет шумный успех. Из всех произведений Шестова книга эта выдержала наибольшее количество изданий и была переведена на восемь языков, включая японский и китайский.

Этими произведениями и начинается собственное философствование Шестова.

На почве русской литературы выросла и наиболее раздражавшая современников книга Шестова — «Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления)» (СПб.: Общественная польза, 1905 г.). Первоначально Шестов начал писать цельную работу под названием «Тургенев и Чехов», но, увидев, что материал не складывается в обычную форму, изъясил часть, касающуюся Тургенева, и выпустил книгу «афоризмов, возмутительных и циничных для ума, которого кашей не корми, а подай „систему“, „возвышенную идею“ и т. п.»

В 1911 г. издательство «Шиповник» выпустило шеститомное собрание сочинений Л. Шестова. Помимо упомянутых четырех книг, в него вошли сборники статей «Начала и концы» (т. 5) и «Великие кануны» (т. 6). Если не считать статьи «Логика религиозного творчества», посвященной памяти Уильяма Джеймса, и «Похвалы глупости», написанной по поводу книги Н. Бердяева, все статьи здесь — о литературе: вновь о Толстом и Достоевском, о прозе А. Чехова — «Творчество из ничего», одно из стилистически наиболее совершенных произведений Шестова, затем статьи о драматургии Г. Ибсена, о поэзии Ф. Сологуба. Перед нами все еще философия в форме литературной критики. Собранием сочинений обозначен, пожалуй, естественный и достаточно четкий рубеж между двумя периодами философского творчества Л. Шестова — литературно-критическим и собственно философским.